
Дэниел Дж. Махони
СОЛЖЕНИЦЫН-МЫСЛИТЕЛЬ

Александр Солженицын считает себя в первую очередь писателем и художником слова. Но примечательная широта его мысли и живое влияние его книг далеко выходят за рамки того, что на Западе принято называть «искусством». По силе воздействия на политическую жизнь XX века ему нет равных среди писателей. Ни один из них не мог бы сказать о себе, что разрушил опирающуюся на два столпа — ложь и насилие — «империю зла». Солженицын и «живой классик» русской литературы, продолжатель традиции Толстого и Достоевского; и философ-моралист, который призывает не забывать об исконной разнице между добром и злом, правдой и ложью; и, наконец, историк, чьи изыскания во многом помогли раскрыть сложные истоки советского режима. Сам он, однако, настойчиво предостерегает от соблазна политического прочтения его текстов и не претендует на роль политика. В то же время он искусно и действенно участвует в «большой политике». Солженицын стал для своей страны, говоря словами одного из его героев, «вторым правительством», поскольку в эпоху, когда невиданная прежде тирания грозила уничтожить национальную душу России, её память и язык, он взял на себя ответственность за их сохранение. Поэтому, даже если судить о Солженицыне по исключительно «политическим» понятиям было бы ошибкой, в равной степени не следует преуменьшать политические измерения его творчества, тем более что слово «политика» мы понимаем здесь в самом широком смысле.

В наше время на Западе субъективистское представление о призвании писателя всё чаще воспринимается как бесспорная истина. Запад заморожен образом «художника-творца», который следует своему гению и «творит» вообразимые миры, способные увлечь и захватить читателя. Писательство отождествляется с творческим процессом и «аутентичностью» как самоцелями. Поэтому современному западному читателю литератур-

ное творчество Солженицына — совмещение и взаимодополнение литературных, исторических и нравственно-философских элементов — кажется непонятным. Он осознанно следует русской литературной традиции, которая не признаёт существенного различия между требованиями искусства, морали и политики. Видный знаток его творчества Алексей Климов точно сформулировал разницу между двумя этими подходами: «В противоположность западной традиции проведения резкого разграничения между вымыслом и действительностью, великие русские прозаики [XIX столетия] гордились тем, что их произведения отражают исторические, социальные и моральные проблемы и реалии их родины. В России литература оценивалась не мерой способности писателя создавать при помощи своего мощного воображения живой и красочный мир *ex nihilo*^{*}, а скорее его таланта к отбору, переиначиванию и упорядочению элементов действительности, приводящим к пересозданию её в художественно совершенной форме»¹. Как и его великие предшественники в предыдущем веке, Солженицын не стремится выдумывать новые миры, а воссоздаёт Действительность во всем её величии и убожестве. Он в первую очередь показывает трагические вывихи века, где правят бал «бесы» Достоевского, эти устроители «прогрессивного» будущего, раздирающие мир на куски и посыпающие его раны солью. Творчество Солженицына уходит корнями в его жизненный опыт, но отнюдь не замыкается этим опытом или личностью автора.

Лучше всего единство «художественного» и «социального» своих подходов к творчеству Солженицын сформулировал в «Нобелевской лекции» 1972 года. В захватывающей главе «Nobeliana» очерков «Бодался телёнок с дубом» Солженицын пишет о том, каких долгих трудов ему стоило добиться разумного равновесия между своей концепцией искусства и собственными же взглядами на моральную и политическую ответственность писателя: «Посилился я соединить тему общества и тему искусства — всё равно не получилось, два многогнутых стержня, отделяются, распадаются»². Вот почему Солженицын опубликовал лекцию только через два года после присуждения премии — лишь тогда он наконец решил, что ему удалось соединить эти две темы. Поэтому подробное рассмотрение тщательно отработанного текста лекции послужит хорошим введением в интеллектуальный и творческий мир Солженицына. «Нобелевская лекция» выражает едва ли не в самой сжатой и чёткой форме художественные и морально-политические воззрения Солженицына в их сущностном единстве. И те и другие представлены в лекции как крайне существенные для автора, при том что искусство не политизируется, а обязательствам пи-

^{*} *Ex nihilo* — из ничего (*лат.*).

сателя перед обществом — из благодарности и из чувства самоуважения — воздано должное. Здесь также содержится ясное изложение солженицынской теории искусства, подтверждающее его исходящую из традиционной концепции сущностного единства правды, добра и красоты, и высказаны соображения автора об отношении общего к частному, а общечеловеческого нравственного закона — к сугубо национальным культурам отдельных народов. Наконец, тут блистательно сформулирована мысль об ответственности писателя перед обществом и о той «спасительной роли», какую мировая литература может сыграть, создавая «общую шкалу оценок» в мире, который вступает в новую эпоху — эпоху глобальной истории, когда все люди ощущают себя частью единого исторического процесса, происходящего на едином мировом пространстве. Лекция завершается особенно запоминающимся и пророческим рассуждением о том, как слово способно преодолеть и победить ложь и насилие.

ДОЛГ ХУДОЖНИКА

Солженицын поделил текст своей «Нобелевской лекции» на семь разделов. В первых двух речь идёт об искусстве, которое, как бы мы ни использовали его «то для развлечения... то... для политических мимобежных нужд», всегда остаётся силой, в конечном итоге противящейся любой попытке её подчинить. Поэтому оно, по словам Солженицына, «не оскверняется нашими попытками <...> всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света»³. Искусство и в самом деле есть дар таинственный и божественный, именно поэтому для него невозможно подыскать однозначное определение. Вместо того чтобы перечислять различные его виды и формы и таким образом пытаться найти ответ на вопрос, что есть искусство, Солженицын начинает с размышления о двух типах понимания самим художником искусства и своего предназначения в нем. (Не следует забывать, что в лекции он почти всегда имеет в виду слово написанное.)

Писатель первого, так сказать «модернистского», типа «мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него...». Однако столь скороспелое определение задач, стоящих перед художником, требует слишком многого от простых смертных. Ведь ни один человек, будь он даже «смертный гений», не может создать «уравновешенной духовной системы», основанной на ложном представлении о человеке как о «центре бытия»⁴. Вот и лекция начинается с отрицания того, что Солженицын позже, в своей Гарвардской речи, называет *антропоцент-*

физмом, который, по его мнению, в начале XX века роковым образом искажил гуманистическую мысль Запада. Это характерное извращение духа — подмена Бога человеком — лежит в основе всей модернистской и постмодернистской мысли.

Самого себя Солженицын открыто причисляет к писателям второго типа, считая, что писатель «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога», и поэтому «ещё строже» его «ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души»⁵. Такой художник не признаёт ни крайнего субъективизма, ни безудержного стремления к самоутверждению художников первого типа. Он сознаёт, что не создал этот мир и, следовательно, не может самодовольно утверждать, будто мир «им управляется». Более того, у него «нет сомнений в его основах». Для такого художника мироздание овеяно некоей божественной тайной. Но он понимает и то, что в не им созданном мире существуют некий порядок и устройство, некая внутренняя гармония, и долг художника — «остро передать это людям»⁶. Такой вот «подмастерье под небом Бога» прекрасно сознаёт «красоту и безобразие человеческого вклада» в окружающий его миропорядок и не питает иллюзий в отношении присущего человеческой природе зла и несовершенства. Одна из главных тем творчества Солженицына (знаменитая формула из «Архипелага...») — то, что «линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца»⁷. Писателя второго типа «даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях» «не может покинуть» «ощущение устойчивой гармонии» мира. Вместо того чтобы диктовать миру свою волю, писатель благодарно принимает и выражает божественное таинство нерукотворного бытия.

Как явствует из «Нобелевской лекции», Солженицын — писатель-реалист, который верит в познаваемость миропорядка. Он считает, что человеческие речь и мышление способны адекватно передать индивидуальный опыт и связать его с теми «сверхиндивидуальными» основами бытия, которые в конечном счёте не подвластны манипуляциям и контролю со стороны человека. Солженицын принимает положения классической христианской космологии и антропологии, не имеющие ничего общего с легкомысленными убеждениями модернистов (и постмодернистов) в том, что мироздание равнодушно к человеческим устремлениям либо враждебно им. Если Солженицын и является «реалистом», верящим в объективную природу Реальности, он никогда не путает искусство с дидактическим или рассудочным описанием природы вещей. Опыт и разум открывают человеку неизменную человеческую природу и абсолютный нравственный закон, который превышает относительных культурных норм

и исторических обстоятельств. Впрочем, Солженицын признаёт, что в существенных смыслах искусство превосходит доводы рассудка. Его «ослепительные извивы» и «непредсказуемые находки» оказывают поистине «сотрясающее воздействие на людей». Эти свойства искусства «слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев»⁸. Художник — «подмастерье под небом Бога» — способен понять ниспосланный ему дар невыразимого, ибо «не всё — называется. Иное влечёт дальше слов». Искусство, пусть «смутно» и «коротко», всё же способно давать «такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению». В своих высших проявлениях оно позволяет прикоснуться к «Недоступному», никоим образом, однако, не посягая на познаваемость миропорядка. По Солженицыну, искусство идеального художника равно основано и на разуме, и на откровении. Этот художник ощущает связь с внутренней гармонией мира и стремится осмыслить и выразить его «нерукотворность». Такой взгляд на искусство резко отличается от современных надменно-легковесных суждений о литературе и искусстве с их упором на «автономность», само-творение.

Солженицын отнюдь не мыслитель-догматик, однако важнейшие его сочинения говорят о том, что он твёрдо верит в первозданный гармоничный или разумный миропорядок. К утверждению этого, по Солженицыну, и тяготеет любое истинное понимание писательского долга. Без убеждённости в устойчивой гармонии естественного порядка вещей невозможно гуманное или очеловечивающее искусство. В противном случае искусство рухнет под тяжестью собственных претензий, пусть современный художник и объясняет неудачу своей попытке утвердить с помощью искусства абсолютную независимость личности, ссылаясь «на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики»⁹.

Мысли, изложенные в первом разделе, лежат в основе лекции в целом, поэтому неизбежно повторяются и в остальных её разделах.

«МИР СПАСЁТ КРАСОТА»

Второй раздел «Нобелевской лекции» — это приглашающие к серьёзному размышлению рассуждения Солженицына о «загадочной» фразе Достоевского «Мир спасёт красота» (фраза князя Мышкина в передаче Ипполита, одного из персонажей романа «Идиот»). Солженицын признаётся, что эти слова долго казались ему непонятными, поскольку красота, несомненно, «облагораживала» и «возвышала», но уж точно не спасала человека от себя самого. Однако по размышлению ему всё же откры-

лась вся глубина суждения Достоевского — писателя, которому, по его словам, «дано было многое видеть»¹⁰.

Солженицын проникновенно говорит о «триединстве Истины, Добра и Красоты», которое есть «не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности»¹¹. Конечно, это не значит, что он наивно отождествляет красоту с истиной и добром, забывая при этом о сложности человеческой природы и напряжённости духовной жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря своему лагерному опыту, Солженицын пришёл к мысли о том, что искусство может способствовать воцарению на земле Добра и Истины хотя бы тем, что способно вернуть последнюю человеческому бытию. Он многозначительно уподобляет эти три великие блага деревьям, которые больше не цветут в наших современном и постмодернистском мирах. Но если «слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся *в то же самое место*, и так выполнят работу за всех трёх?»¹². Ныне в искусстве самонадеянно видят всего лишь продукт человеческой деятельности или зеркальное отражение исторических или социально-экономических явлений. Со сверхсовременной точки зрения красота — это просто одна из многих субъективных «ценностей», а не ключ к постижению основанного на истине и добре миропорядка.

По мнению Солженицына, эта попытка представить мир как нескончаемую борьбу непримиримых ценностей крайне субъективна и заведомо безнадежна. Современное мышление неспособно понять, каким образом красота служит экзистенциальным подтверждением естественного порядка вещей или по крайней мере способствует тому, чтобы истина и добро еще сохранялись среди людей. Доказательством того, что красота, как прозревал Достоевский, может спасти мир, служат жизнь и пример Солженицына. В период с 1920-го по 1960 год было написано достаточно книг и о тоталитаризме, и о советских лагерях, но не было ни одной, которая так всколыхнула бы сердца и умы, как «Архипелаг ГУЛАГ». В этой книге фактическая достоверность сочетается с поучительными размышлениями исторического, философского и правового характера о том, как возникла система, где «гнали по сточным трубам целые нации»¹³. Но прежде всего и в первую очередь это — произведение искусства, «опыт художественного исследования». Здесь личный опыт автора подкреплён свидетельствами 256 «зэков»¹⁴, что в сочетании с основательными историческими разысканиями, глубокими размышлениями морального плана и часто сардонической интонацией повествования создаёт выверенную до мелочей картину мира, искажённого идеологией.

Несомненно, любые исследования в области советской истории, особенно основанные на ранее недоступных документах из советских государственных партийных архивов и хранилищ КГБ, чрезвычайно полезны, и сам Солженицын всячески поощряет и поддерживает исследования такого рода. Но даже такая блистательная работа последних лет, как «История ГУЛАГа» Энн Эпплбаум¹⁴, никогда не заменит «Архипелаг...» хотя бы потому, что написана с другой целью, при том что дополняет труд Солженицына. У Солженицына эстетический и философский аспекты книги высвечивают аспект фактический, поэтому ему и удалось с такой убедительностью раскрыть всю чудовищность идеологической Лжи. Именно потому, что он не ставил себе цели писать историческое исследование в строгом смысле слова, ему удалось так точно поведать истину о «душе и колючей проволоке». Солженицын — и в этом его великая заслуга — понял, что хитрые идеологические выдумки, характерные для советского коммунизма, можно разрушить с помощью настоящего искусства, которое изображает «душу человека при социализме» с художественной достоверностью, разумеется, только при условии, что в стране найдётся достаточно критически настроенных читателей, отказавшихся от «соучастия во лжи». Когда 30 декабря 1973 года «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в свет^{III}, Солженицын мог с полным правом сказать, что в этот решающий день сбылось предсказание трёх ведьм из «Макбета» и «Бирнамский лес пошёл».

СОВМЕСТИТЬ РАЗНЫЕ «ШКАЛЫ ОЦЕНОК»

Центральные разделы «Нобелевской лекции» посвящены тому, каким образом литература может сыграть ключевую роль в преодолении зияющей пропасти, которая в наши дни разделяет народы и культуры. Эта «теоретическая» часть лекции явно навеяна огромными практическими трудностями для человека из коммунистического блока — как «угадать и выразить» тоталитарный опыт так, чтобы он стал понятен равнодушному западному миру. Солженицын стремится объяснить эту нечувствительность людей, которые, обращая друг к другу, не способны расслышать «внятную речь». Слова предупреждения «отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа», но не только по вине западного мира, где царит теперь «дух Мюнхена», эта «болезнь воли благополучных людей». Здесь есть причины более глубокие — это явление отражает то, как воспринимают мир люди и соответственно формируют собственную шкалу оценок, как «действия и намерения» преобразуют их в личности и народы. Человек так устроен, что его больше всего интере-

суют ближние события, а восприятие мира определяется «личным и групповым жизненным опытом»¹⁵. Тысячелетиями человечество делилось на отдельные группы, которые редко контактировали друг с другом, соответственно, и «шкалы их общественных оценок» вырабатывались лишь на основании собственного опыта или опыта отдельного народа. При этом люди часто не сознавали, что существуют другие народы и могут быть совершенно иные культуры и ценности.

Солженицын отнюдь не релятивист, считающий — то, что «истинно по эту сторону Пиренеев, ложно по другую». Он убежденно говорит о неизменных свойствах человеческой природы и высмеивает модное нынче отрицание самого существования нравственного закона. Но Солженицын также понимает, что человечество состоит из отдельных наций с собственными традициями, исчезновение которых, по его словам, «обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо». Солженицын говорит о том, что нация — как бы старомодно ни звучали в современном мире его доводы — «это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла»¹⁶. Человечество, таким образом, представляет для Солженицына ценность не только как общность, но ещё и как совокупность самых разнообразных национальных и культурных форм и традиций. Он отвергает легковесный космополитизм и говорит о том, что жизненно необходимо излечиться от опасной близорукости, которая мешает народам подходить к действительности с общей для всех шкалой оценок.

В пятом разделе «Нобелевской лекции» Солженицын говорит о той надежде, которую он — возможно, не без натяжки — возлагает на «мировую литературу»: только она способна совместить разные шкалы оценок, чтобы создать «человечеству единую систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний». Одна лишь литература, в силу её духовной насыщенности, может «косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость» и направить его «гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе»¹⁷. «Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства», эти инструменты, отобранные ущербной современностью, говорит Солженицын. Искусство же, напротив, проникает в души людей, с его помощью они могут передавать другим и сами переживать чужой ранее, неизведанный опыт. Поэтому Солженицын не боится называть «чудесной» эту способность литературы выражать коллективный опыт, несмотря на «различия языков, обычаев, общественного уклада». Таким образом, Солженицын даёт понять, что его личный протест против цензуры и подавления национальной литературы ничего общего не имеет с приверженностью либералов «свободе слова». Его «диссидентство» скорее идёт от убежде-

ния, что именно литература играет решающую роль в передаче исторической памяти и опыта от поколения к поколению, от народа к народу. Литература обладает уникальной способностью сохранять *душу* народа, благодаря ей живой опыт могут ощутить даже те, кто отделён от нас временем и пространством. Уничтожение свободной, нравственно ориентированной и серьёзной национальной литературы направлено, следовательно, против всего человечества и его общих целей.

Мировая литература понимается Солженицыным «как огибающая по вершинам национальных и как совокупность литературных взаимовлияний»; слова, доносящиеся с её «вершин», сегодня обращены ко всему человечеству, что невозможно было даже представить всего два или три поколения тому назад. Так что мировая литература — это не «обобщение, созданное литературоведами», а «живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества»¹⁸. Солженицын горячо приветствует тот интерес, который народы мира проявляют к внутренним делам далёких стран, — ведь «спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего»¹⁹. Хотя последнее, по неоднократно высказанному мнению Солженицына, вовсе не означает, что любая нация имеет право силой навязывать другим свою, пусть даже демократическую, политическую систему.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

В шестом разделе «Нобелевской лекции» Солженицын говорит о моральной и политической ответственности художника. При этом он ни в коем случае не посягает на право художника «выражать исключительно собственные переживания» или уходить «в созданные миры или в пространства субъективных капризов». Но этот отказ эгоцентричного художника признать ответственность, которую неизбежно налагает на него его талант, говорит о полном непонимании им своего предназначения. Погружаясь в себя, такой художник забывает, что «в большей доле» его дарование «вдунуто в него от рождения готовым». Божественный дар предполагает и «ответственность», которая, по словам Солженицына, «положена на его свободную волю». Таким образом, художник, не понимающий природы своего дара, не чувствует и большой своей ответственности за создание общего для всех мира. Такая безответственность особенно опасна в эпоху господства идеологий, когда «старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир».

Солженицын имеет в виду восточноевропейские коммунистические страны (эту тему он развил впоследствии в своей Гарвардской речи 1978 года), где «пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип»²⁰, а также постепенную эрозию самоограничения и институтов авторитарной власти, представляющую угрозу единству западных сообществ и основному их принципу — всеобщему равенству перед законом. В рассуждениях, которые, кстати, отнюдь не завоевали ему сторонников в западном леволиберальном лагере, Солженицын с презрением говорит о том, что Достоевский называл «рабством у передовых идей», каковое рабство стало ныне доминирующей тенденцией в западной интеллектуальной жизни. Он сетует на кризис западной цивилизации, отмеченный оправданием революции и насилия, попустительством самым радикальным и безответственным молодежным движениям и презрением ко всему, что имеет привкус «консерватизма».

В своём глубоком комментарии к «Нобелевской лекции» Солженицына выдающийся польский поэт и лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош писал, что русский писатель судит о «новых левых» и культурных вывихах 1960-х годов не как типичный западный интеллектуал-прогрессист, а скорее с точки зрения здравого смысла типичного «синего воротничка». По Солженицыну, у писателя есть социальные задачи и поважнее следования современным либералистским или антиномистским культурным течениям.

В манере, напоминающей одновременно и «Размышления» Бёрка^{IV}, и «Бесов» Достоевского, Солженицын выступает в защиту цивилизационного наследия — этой предпосылки ответственного подхода к свободе человека. Если искусство — это божественный дар, которым поверяется свобода воли художника, то свобода — это духовная обязанность свободного человека найти разумный средний путь между принуждением и своеволием. Писатель, осознающий свой долг перед обществом, противостоит искажению действительности в кривом зеркале как тоталитарной, так и западной «прогрессистской» идеологии. Он должен нести ответственность за «беды нашего мира»²¹, даже если лично в них неповинен. Его ответственность заключается в том, чтобы говорить правду о мире, называя добро и зло их подлинными именами.

ПОБЕДИТЬ ЛОЖЬ

Хотя оценка Солженицыным развития современной цивилизации представляется в высшей степени пессимистической, свою «Нобелевскую лекцию» он заканчивает на характерной для него обнадеживающей ноте. В

заключение он призывает литературу собственными силами разрушить основанный на лжи и насилии тоталитарный мир. Солженицын, в отличие от академических политологов и историков с их стандартными методами анализа, никогда не считал Советский Союз просто одной тиранией в ряду других. Советский Союз был скорее построенным на лжи идеологическим режимом, поддерживать который можно было только посредством чудовищного насилия. В самом начале, на волне революционного подъёма и веры в сотворение нового человека и нового общества, насилие «действует открыто и даже гордится собой». Но когда революционные страсти улеглись, режим стал утрачивать идеологическую самоуверенность. Он начал опираться не столько на регулярные демонстрации физического насилия, сколько на добровольно-принудительное участие своих подданных в запредельной лжи.

«Нобелевская лекция» завершается своеобразной программой свержения тоталитаризма в коммунистическом мире – но не путём вооружённой революции, а путем сознательного решения достойных людей «не участвовать во лжи». Таков путь спасения общества, и Солженицын говорил об этом с ещё бóльшим пафосом в «Письме вождям Советского Союза» (1973) и в своём манифесте «Жить не по лжи!», который ушёл на Запад и в самиздат в дни его изгнания из СССР, в феврале 1974 года. Все эти тексты свидетельствуют о том, что Солженицын одним из первых осознал чудовищную уязвимость «империи лжи» выбором «простого мужественного человека», который предпочёл духовному рабству духовную свободу. Эти идеи были впоследствии развиты и осмыслены на высоком теоретическом уровне чешским драматургом-диссидентом Вацлавом Гавелом в его эссе «Сила слабых» (1974). Гавел не скрывал, что основными положениями этой работы обязан именно Солженицыну.

Солженицын не только обнажил внутреннюю уязвимость основанного на лжи режима, но и ярко раскрыл уникальную способность литературы «победить ложь» и представить насилие в его подлинном виде. Жизнь и творчество самого Солженицына выразительно подтверждают мудрость русской пословицы, которой он завершает «Нобелевскую лекцию»: «Одно слово правды весь мир перетянет»²². Для Солженицына эта пословица не просто литературная виньетка. Ведь идеократический советский режим основывался на силе куда более разрушительной для человеческой души, чем голое насилие или физическое принуждение. Он *одухотворял* деспотизм, требуя от своих подданных, чтобы те лгали о самых разных вещах, великих и малых. Эта ложь, по словам Раймона Арона, восходит к более фундаментальной «иллюзии, будто с помощью насилия можно в мгновение ока изменить судьбы людей и общественное устройство»²³. Только Искусство словами правды выставляет эту

ложь во всей её отвратительной наготы и таким образом помогает людям жить в согласии с простым человеческим миром, где господствуют свобода и чувство ответственности.

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНСКИХ ИДЕЙ

Наиболее осведомлённые наблюдатели считают, что победой над коммунизмом Россия во многом обязана именно Солженицыну. Ведь он сделал больше любого другого в XX веке для разоблачения идеологической лжи, лежащей в основе коммунистического тоталитаризма. Французский историк Ален Безансон многозначительно сравнил автора «Архипелага...» со святым Георгием, легендарным духовным рыцарем, победившим дракона. В этом образе, несомненно, отразилось то самоотверженное мужество, с которым Солженицын боролся с режимом, уничтожившим десятки миллионов собственных граждан ради построения неосуществимой социалистической утопии, где не будет места ни конфликтам, ни человеческому несовершенству. Благодаря Солженицыну сегодня куда меньше людей верят в благие цели большевистской революции 1917 года, а в советской трагедии винят в первую очередь Сталина с его жестокостью и неуёмной жадностью власти. Солженицын безошибочно и гениально нанёс идеологию — и идеологический террор — на карту современного сознания. Мартин Малиа абсолютно прав, считая, что «Архипелаг ГУЛАГ» стал для коммунистической диктатуры почти тем же, чем для нацистской был Нюрнбергский процесс²⁴.

Тем не менее бытует миф, будто Солженицын не полностью признаёт свободу личности. Это совершенно не соответствует истине. На самом деле он придерживается умеренных политических взглядов и является горячим сторонником консервативного конституционализма. В целом ряде сочинений, начиная с «Письма вождям...» (1973) и заканчивая «Россией в обвале» (1998), он последовательно поддерживает верховенство закона, экономический прогресс на основе технологий, которые соответствуют естественным характеристикам человека, и восстановление в России местного самоуправления по образцу дореволюционного земства. Несмотря на это, учёные и публицисты, за редким и достойным исключением, никак не могут сделать нужное умственное усилие и понять наконец разумное стремление Солженицына объединить лучшее в европейской политической мысли с истинно русской культурной и интеллектуальной традицией.

Вошло в привычку величать Солженицына славянофилом, романтиком, аграрием, монархистом, теократом и даже антисемитом и на этом основании сбрасывать его со счетов. Немного найдётся ведущих мысли-

телей, чьи суждения постоянно понимались бы столь превратно, а то и намеренно искажались. Среди прогрессивно настроенной западной и российской интеллектуальной элиты давно укоренилось мнение, будто ему мало, а то и вообще нечего сказать «современному миру» или об этом мире. Между тем Солженицын никогда не призывал возродить монархию и уж тем более никогда не считал себя славянофилом. Он не разделяет потакания славянофилов XIX века самодержавию (пусть и самому что ни на есть либеральному), преувеличение ими русской национальной исключительности или идеализацию крестьянской общины и неприятие принципа индивидуального землевладения. Солженицына можно лучше понять, рассматривая его как последнего в достойном ряду тех, кого профессор русской истории Дональд Тредголд назвал «синкретическими» мыслителями. Эти мыслители, по его словам, пытались «соединить возрождение собственной культурной традиции с принятием западного образа жизни»²⁵. В числе подлинных интеллектуальных предшественников и вдохновителей Солженицына следует назвать таких христианских либеральных мыслителей конца XIX века, как Вл. Соловьёв и С. Булгаков. Подобно им, он воспринял всё лучшее из богатейшей западной интеллектуальной и духовной традиции, отвергнув при этом такие направления, как сциентизм, атеизм и субъективизм, которые отождествляют прогресс человечества с торжеством светского гуманизма.

Почему же тогда и в России, и на Западе к его идеям относятся столь враждебно? Во-первых, леваки, разумеется, не могут простить Солженицыну тот сокрушительный удар, который он нанёс в своё время коммунистическому чудовищу. К тому же он принадлежит к числу тех мыслителей консервативного склада, кто, с одной стороны, взвешенно критикует современную философскую доктрину, которую писатель именует *антропоцентризмом*, а с другой — высоко ставит свободу, эту основу западного общества. Но такую политику умеренности трудно понять как прогрессивно мыслящей, так и малообразованной общественности. Другие критики Солженицына, в том числе многие западные журналисты и российские интеллектуалы светского толка, привычно отождествляют патриотизм и религию с реакционностью, с ограниченностью, которая несовместима с общественным прогрессом. В «Октябре Шестнадцатого» Солженицын с похвалой отзывается о видном земском деятеле Д.М. Шипове, который поддерживал самоуправление и в то же время глубоко чтит русские духовные традиции. Приверженец свободы, он не желал, чтобы Россия рабски подражала светскому Западу. Но, замечает Солженицын, к тому времени уже распространилась пагубная привычка отмахиваться от таких людей как от «славянофилов» и реакционеров. Солженицынские комментарии искажённого восприятия взглядов Шипова столь же справедливы и в отношении общепринятых ха-

рактических позиций самого писателя: «Шипов указывал большинству, что класть в основу реформы идею *прав и гарантий* значит вытравлять и выветривать из народного сознания ещё сохранённую в нём религиозно-нравственную идею. Оппоненты из большинства за то назвали его славянофилом, хотя не признавал он ни божественного происхождения самодержавия, ни превосходства православия над другими христианствами, — но уж так усвоено было полувеком раньше (да и полувеком позже), что всякий, кто хочет уклониться от прямого следования западным образцам, всякий, кто допускает, что путь России (или другого какого континента) может оказаться своеобразным, — есть *реакционер, славянофил*»²⁶.

Так как же выпутаться из этой бесконечной путаницы искажений и перетолкований идей Солженицына? Начнём с того, что признаем: защита свободы и человеческого достоинства не исчерпывается новомодными категориями или постулатами. Солженицын является либералом в том смысле, что прекрасно сознаёт: свободе для существования требуется множество предварительных условий морального и культурного плана. Если прочесть внимательно тексты его выступлений в Гарварде и Лихтенштейне, то становится очевидным — современной «катастрофе гуманистического автономного безрелигиозного сознания»²⁷ он противопоставляет не романтический идеал коммуны или теократического государства, а свободное общество, которое, восприняв «наследство христианских веков с их большими запасами то милости, то жертвы»²⁸, ограничивает личную свободу принципами нравственности. Мишенью Солженицына в этих лекциях являются отнюдь не демократические свободы (он неустанно выступал за местное самоуправление, а в новой России критиковал «олигархов»), но скорее то, что у людей «поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом»²⁹. В «Темплтоновской лекции» 1983 года он сформулировал это ещё радикальней: все страшные напасти XX века происходят оттого, что «люди — забыли — Бога»³⁰. Поэтому он поборник «свободы под Богом» и враг пагубной иллюзии, будто человек способен создать мир, основанный лишь на принципе автономной и ничем не ограниченной воли.

В «Красном Колесе» Солженицын чрезвычайно тонко и пронизательно размышляет о том, как объединить свободу и нравственность. В этих книгах содержатся глубокие соображения о природе умеренности в политике и о необходимости мудрого государственного устройства, которое объединило бы христианскую заботу о духовном достоинстве человека с признанием неизбежности общественного прогресса и уважением к нему. Солженицын критикует реакционеров, которые не учитывают неотвратимый характер общественного «прогресса»; революционеров, которые с наслаждением нигилистов разрушают существующий порядок; псевдо-

либералов, которые отказываются от взвешенного изучения сложных по самой своей природе взаимоотношений между порядком и свободой, традицией и прогрессом.

Почти во всех своих главных сочинениях Солженицын говорит о том, сколь необходимы духовные качества — «раскаяние» и «самоограничение» — для подлинно гармоничной личной и общественной жизни. Однако он никогда не превращает античные или христианские ценности в «антипрогрессистское» учение, которое игнорировало бы все те трудности, с которыми человек неизбежно сталкивается в динамичном современном обществе. Впрочем, Солженицын не обманывает себя относительно судьбы этих духовных качеств в современных условиях: «...уж так заведено, что в государственной жизни ещё резче, чем в частной, добровольные уступки и самоограничение высмеяны как глупость и простота», — утверждает он в «Октябре Шестнадцатого»³¹. То есть Солженицын не питает иллюзий, что раскаяние и самоограничение когда-нибудь станут чёткой бесспорной основой свободной политической жизни. Его надежды гораздо более скромны — чтобы люди слышали голос Добра в какофонии разного рода заявлений и суждений, соперничающих в борьбе за внимание публики. Солженицын не преклоняется перед прогрессом и не отрицает его, а настаивает, как в речи в Лихтенштейне (1993), на том, что мы должны «направить мощь Прогресса — действительно на совершение добра»³². Слишком часто нравственные воззрения Солженицына политически переосмысливали таким образом, что его отказ от прогрессистских иллюзий ошибочно понимался как реакционное нежелание признать, что подлинный прогресс вообще возможен.

На самом деле Солженицын — либерально настроенный консерватор, который хочет умерить однобокую озабоченность проблемами личной свободы полезным напоминанием о нравственных целях, призванных одушевить ответственный выбор человека. Подобно лучшим мыслителям античности и христианства прошлых веков, он полагает, что люди не должны чрезмерно заботиться о материальных потребностях или пренебрегать «духовной сущностью» («Октябрь Шестнадцатого»). Поэтому Солженицын, прекрасно понимая, что возможности политики весьма ограничены, признаёт, что «христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство»³³. Когда Солженицын касается вопросов чисто политических, он выказывает себя твёрдым поборником умеренности в политике. Изображение им в «Августе Четырнадцатого» попыток председателя Совета министров Петра Столыпина установить такой конституционный порядок, который коренился бы в русской национальной традиции и удержал бы Российскую империю от падения в бездну революционного хаоса, — одни из мудрейших страниц, когда-либо напи-

санных о разумном управлении государством. Солженицын выступает здесь как убеждённый защитник «средней линии» общественного развития, как поборник свободы и достоинства человека.

Вопреки бытующим мнениям Солженицын вовсе не реакционер-ортодокс, с порога отметающий все современное, напротив, он бы по достоинству оценил мудрость критического замечания Ницше: «*На ухо консерваторам... есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали двигаться раком*»³⁴. Не является он и погружённым в свои мысли пессимистом, который предаётся апокалипсическим страхам и циническому отчаянию. Его сочинения завершаются нотой надежды именно потому, что он верит: нерукотворность действительности — основа основ мира, в котором нам, людям, выпало жить. Жизнь есть дар, и даром этим следует дорожить, несмотря на реальность зла, которое всегда будет существовать и в мире, и в душе человека. То, что в человеческом сердце добро и зло вечно противостоят друг другу, следует рассматривать не как повод отчаиваться, но как свидетельство испытания нашей свободной воли, порождающей все интеллектуальные и духовные добродетели.

Своему последнему биографу Джозефу Пирсу Солженицын признался однажды, что сам он, вопреки общему мнению, считает себя прежде всего оптимистом. Он вопреки всему не терял и не теряет веры ни в божественное провидение, ни в достоинство и мужество простых людей. Не следует забывать о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» завершается на ноте надежды и духовного очищения. В исполненном драматизма третьем томе «Архипелага...» Солженицын красноречиво повествует о духовном сопротивлении многих его сограждан мерзостям советского тоталитаризма. Даже в «России в обвале», где современная Россия описана в очень мрачных тонах, он воздаёт должное миллионам честных граждан, которые не желают приспособляться к посткоммунистической коррупции или предаваться пагубной ностальгии по чудовищному коммунистическому прошлому. Солженицын напоминает о том, что, несмотря на семьдесят лет тоталитаризма и десятилетие с лишним неудачных реформ, в России сохранилось достаточно истинных патриотов, проникнутых духом гражданственности предпринимателей и нравственно стойких верующих. У России есть ещё время выбрать свой путь самоуправления и самоограничения. Солженицын никогда не позволяет себе отчаиваться, поскольку знает, что будущее не предопределено, а зло не завладеет миром всецело. Эта спасительная мысль о непредсказуемости человеческого фактора лежит в основе его великого произведения «Красное Колесо»: трагедию нигилистической революции можно было предотвратить, если бы больше русских проявили моральную и политическую ответственность. Поэтому победа большевиков в 1917 году не была неизбежна.

Солженицын — самый талантливый изобличитель идеологии в XX веке. В своих сочинениях он ясно показывает, почему бедствий «великой революции» нельзя желать никакому народу или стране. Во впечатляющем «Слове о Вандейском восстании» (25 сентября 1993 года) он пишет: «Мы все с вами пережили XX-й — насквозь террористический — век, содрогающее увенчание того Прогресса, о котором столько мечталось в XVIII-м». Однако его критика идеологической революции, его атаки на политическую составляющую этого Прогресса продиктованы единственно желанием вернуть надежду человеку действия. Лишь освободившись от ложной веры в неизбежность такого прогресса, мы сможем «терпеливо улучшать то, что у нас есть в каждое “сегодня”»³⁵. Солженицын учит нас своим опытом и творчеством, что подлинная альтернатива революционной утопии — это не постмодернистский нигилизм, а благодарность за данный нам нерукотворный мир и терпеливые, однако решительные усилия по исправлению имеющихся в нём несправедливостей. Бесплодно надеяться, будто революция способна изменить человеческую природу, но отнюдь не беспочвенна вера в то, что «страстно желаемый нами социальный эффект <...> достигается нормальным эволюционным развитием»³⁶.

Исходя из этого, Солженицын справедливо подчеркивает, что мы ни в коем случае не должны забывать о конечных границах политики. Поиск истины и нравственное самосовершенствование в конечном итоге выходят за пределы политической сферы. Признавая ключевое значение политических убеждений и политических институтов для достоинства и свободы человека, Солженицын, однако, никогда не оставляет за политической последнего слова.

Перевод с английского Е.А. Щербаковой

¹ Klimoff A. The sober eye: Ivan Denisovich and the peasant perspective // One day in the life of Ivan Denisovich: A critical companion / Ed. A. Klimoff. Evanston, IL: Northwestern univ. press, 1997. P. 6–7. См. перевод статьи А. Климова «Иван Денисович и крестьянская точка зрения» в наст. изд., с. 519–520.

² *Бодался телёнок с дубом*. С. 286.

³ Нобелевская лекция // *Публицистика*. Т. 1. С. 7.

⁴ Там же. С. 7–8.

⁵ Там же. С. 8.

⁶ Там же.

⁷ *Архипелаг ГУЛАГ*. Т. 2, ч. 4, гл. 1. С. 570.

⁸ Нобелевская лекция. С. 8.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 9.

¹¹ Там же. С. 10.

¹² Там же.

¹³ *Архипелаг ГУЛАГ*. Т. 1, ч. 1, гл. 2. С. 40.

¹⁴ См.: *Applebaum A. Gulag: A history*. Doubleday, 2003; рус. пер.: *Эннлбаум Э. ГУЛАГ: Паутина Большого террора*. М.: Московская школа политических исследований, 2006.

¹⁵ Нобелевская лекция. С. 12.

¹⁶ Там же. С. 16.

¹⁷ Там же. С. 15.

¹⁸ Там же. С. 21–22.

¹⁹ Там же. С. 23.

²⁰ Там же. С. 17–18.

²¹ Там же. С. 21.

²² Там же. С. 25.

²³ *Aron R. Soljénitsyne et Sartre // Commentaire* (Paris). 1993/94 (Hiver). Vol. 16. № 64. P. 692. См. перевод статьи Р. Арона «Солженицын и Сартр» в наст. изд., с. 294.

²⁴ См.: *Malia M. A war on two fronts: Solzhenitsyn and «The Gulag Archipelago» // Russian review*. Columbus, OH, 1977. (Jan.). Vol. 36. № 1. P. 53. См. перевод статьи М. Малиа «Война на два фронта: Солженицын и «Архипелаг ГУЛАГ»» в наст. изд., с. 395.

²⁵ *Treadgold D.W. Solzhenitsyn's intellectual antecedents // Solzhenitsyn in exile: Critical essays and documentary materials / Ed. J.B. Dunlop, R.S. Haugh, and M. Nicholson*. Stanford, CA: Hoover instit. press, 1985. P. 265. См. перевод статьи Д.У. Тредголда «Интеллектуальные предшественники Солженицына» в наст. изд. (примеч. 2 на с. 258).

²⁶ Октябрь Шестнадцатого. Кн. 1, гл. 7' // *Красное Колесо*. Т. 9. С. 80–81.

²⁷ Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета 8 июня 1978 // *Публицистика*. Т. 1. С. 326.

²⁸ Там же. С. 325.

²⁹ Там же.

³⁰ Темплтоновская лекция // *Публицистика*. Т. 1. С. 447.

³¹ Октябрь Шестнадцатого. Кн. 1, гл. 7' // *Красное Колесо*. Т. 9. С. 71.

³² Речь в Международной Академии Философии (княжество Лихтенштейн) 14 сентября 1993 // *Публицистика*. Т. 1. С. 605.

³³ Октябрь Шестнадцатого. Кн. 1, гл. 7 // *Красное Колесо*. Т. 9. С. 75.

³⁴ *Ницше Ф.-В. Сумерки идолов / Пер. Н. Полилова // Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 618.*

³⁵ Слово о Вандейском восстании // *Публицистика*. Т. 1. С. 614.

³⁶ Там же.

КОММЕНТАРИИ

Дэниел Дж. Махони

СОЛЖЕНИЦЫН-МЫСЛИТЕЛЬ

Перевод выполнен по изданию: *Mahoney D.J. Solzhenitsyn's thought // The Solzhenitsyn reader: New and essential writings, 1947–2005 / Ed. E.E. Ericson, Jr., D.J. Mahoney. Wilmington, DE: ISI Books, 2006. P. XXIX–XLIV.*

^{II} ...свидетельствами 256 «зэков»... — В изданиях «Архипелага ГУЛАГ» до 2007 г. фигурировал перечень 227 имён — без раскрытия (см.: *Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 10*). Впервые расширенный поимённый список «свидетелей Архипелага», включающий 257 человек, опубликован в издании: *Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ: 1918–1956: Опыт художественного исследования: В 3 т. Екатеринбург: У-Фактория, 2007*. В указанном издании раскрыты все известные автору инициалы в тексте, опубликован Указатель имён. Первоначально в списке, дополненном именами людей, предоставивших новый материал или сделавших учётные в тексте поправки, предполагалось 256 имён.

^{III} ...30 декабря 1973 года «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в свет... — Первый том «Архипелага ГУЛАГ» на русском языке в парижском издательстве «ИМКА-Пресс» вышел 28 декабря 1973 г. (см.: *Бодался телёнок с дубом*. С. 345).

^{IV} *Бёрк* Эдмунд (Burke; 1729–1797) — английский общественный деятель, философ и публицист, считающийся одним из идейных основателей политического консерватизма.